

Михаил Галустов

БЛИЗНЕЦЫ
СНОВИДЕНИЙ



Михаил Галустов

Близнецы сновидений

«Автор»

2026

Галустов М.

Близнецы сновидений / М. Галустов — «Автор», 2026

Рождение близнецов в советском Прибрежске сопровождается мрачное пророчество: им суждено стать "богатырями духа" и поднять Россию с колен. Но их сила - не для парадов. Гриша видит кошмары всего города. Витя творит тихие чудеса из света и запаха. Отец открывает им тайну: под родной рекой течёт Подтесень - река снов и коллективных страхов. Они - её смотрители. Их война с Туманами отчаяния проходит в невидимом мире, но её исход решает судьбы людей в реальности. "Близнецы сновидений" - это эпическая сага в духе магического реализма, где личные драмы вплетены в ткань истории. Это история о силе, которая может и спасти, и погубить. О цене, которую платят избранные, и о наследстве, которое тяжелее любой короны. О том, как, выиграв самую важную битву, можно невольно развязать новую, ещё более страшную войну. Это книга о России. О её падении и подъёме. О её снах и кошмарах. И о двух братьях, которые несли на своих плечах невидимую тяжесть её души.

© Галустов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|---|----|
| Глава первая. О том, как река решила стать морем | 5 |
| Глава вторая. О быте, хлебе и ночных кошмарах | 8 |
| Глава третья. О том, как сны научились говорить | 10 |
| Глава четвертая. О времени, что текло как патока | 13 |
| Глава пятая. О реке, что течёт под рекой | 15 |
| Глава шестая. О первом звонке и последних снах | 19 |
| Глава седьмая. О том, как ржавчина съедает сталь | 21 |
| Глава восьмая. О том, как сталь ломается | 23 |
| Глава девятая. О тишине, которая кричала | 25 |
| Глава десятая. Об уроках, которых нет в расписании | 27 |
| Глава одиннадцатая. О хлебе насущном и власти над снами | 30 |
| Глава двенадцатая. О пекаре, которого не было | 32 |
| Глава тринадцатая. Клятва на берегу двух рек | 34 |
| Глава четырнадцатая. О зимних пионах и цене чуда | 37 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 38 |

Михаил Галустов

Близнецы сновидений

Глава первая. О том, как река решила стать морем

В те времена, о которых теперь вспоминают как о странном и дремучем сне, город Прибрежск на Оке был сыт и доволен собой. Он покоился на крутом берегу, будто исполинский кот на печке, и дымил в небо завидными, жирными дымами из труб “Прибрежскхиммаша” и “Текстильмаша”. Дымы эти были не вонючими, а сладковатыми, пахнувшими деньгами и уверенностью в завтрашнем дне. Они были знаменем эпохи, когда у каждого был свой станок, свой участок работы, а по вечерам – свой столик в пивной “У Михалыча”, где пиво было густым, а колбаса отменной.

Город был пронизан светом: не только электрическим, что горел круглосуточно в цехах, но и светом человеческим. Таким светом, исходящим от полных сил мужчин в спецовках и женщин в рабочих халатах, что спешили по утрам на работу, солидно гудя, как пчелиный улей. Парки в Прибрежске были ухожены, карусели на детских площадках выкрашены в жизнерадостные цвета, а на стадионе по выходным неизменно собиралась толпа, чтобы поболеть за местную футбольную команду “Химик”, чьи победы переживались как личные триумфы.

В одной из пятиэтажек, с видом на ту самую, широкую и неторопливую Оку, жили двое, чья любовь казалась таким же неотъемлемым элементом городского пейзажа, как и заводские трубы. Артем Оранский, инженер с “Химмаша”, был человеком из той породы, что, кажется, уже не рождаются. Крепкий, с руками, способными и чертеж вывернуть, и станок починить, он носил в себе тайную вселенную и тяжкое наследство. Его отец, тоже Артем, прошедший ГУЛАГ, обладал даром видеть музыку в тишине и стихи в чертежах пулеметов. Этот дар и привлек к нему внимание людей в штатском, что привели к долгим годам в лагере за “идеологическую диверсию и создание абстрактных схем, порочащих советскую действительность”. Артем-младший унаследовал этот дар, но прятал его глубже, превратив в ночное ремесло. По ночам, когда город засыпал, он садился за стол, заваленный кипами инженерных расчетов, и выпускал на волю своих демонов – стихи и картины.

Стихи его не были похожи на другие. Он не писал о любви или о природе в привычном смысле. Он видел душу в металле. Однажды он написал целую поэму о том, как алюминиевая болванка, пройдя через станки, мечтает стать крылом самолета. А его картины... это были не картины маслом или акварелью. Он собирал на свалке ржавые шестеренки, обрезки проволоки, куски слюды и наклеивал их на фанеру, создавая поразительные коллажи. Люди, глядя на них, качали головами: “Красиво, Артем, но непонятно”. А он отвечал, улыбаясь: “Это же сны, ребята. Сны металла. Вот этой шестеренке снилось, что она солнце. А этому болту, что он дерево”. И лишь про себя думал о цене этого дара и о судьбе отца.

Женой его была Светлана, женщина, чья хрупкость казалась обманчивой рядом с его мощью. Она была его антиподом и его дополнением. Пока он творил из грубого, она творила из нежного. Ее любовь была тихой, но невероятно прочной, как паутина, способная удержать сталь. Когда Артем уходил в свои ночные бдения, она сидела рядом, шила или читала, и просто своим присутствием ограждала его от всего мира. Она смеялась его странным шуткам, хранила

его “сны в металлоломе” и втайне верила, что он – самый великий художник на свете, просто мир еще не дорос до его понимания.

Их жизнь текла, как та самая Ока – полноводно, плавно и предсказуемо. Пока однажды весенней ночью Светлана не поняла, что пора. И пока Артем в панике бегал по квартире, собирая в роддом не то, что нужно, река, много лет дремавшая в своих берегах, внезапно проснулась.

Она не бушевала, не громила причалы. Она просто медленно, величаво, как королева, решившая прогуляться по своим владениям, вышла из берегов. Вода затопила нижнюю набережную, подобралась к гаражам и огородам, оставив на асфальте тину, несколькодохлых карасей и ощущение чего-то неотвратимого.

В эту же ночь, в роддоме Прибрежска, под вой ветра и приглушенный гул взбалмошной реки, на свет появились два мальчика. Первый, Григорий, закричал сразу, громко и требовательно, будто протестуя против самого факта рождения. Второй, Виктор, вышел молча, и лишь через минуту тихо всхлипнул, и акушерка потом клялась, что в ту секунду в родильной пахнуло не лекарствами, а свежеиспеченным хлебом и яблоками.

Артема, как и всех отцов, к роженице не пустили. Он метался у входа, куря папиросу за папиросой, пока утренняя смена санитарок не прогнала его от входа. Артём обошел роддом, встал под окнами и стал ждать. прижался лбом к прохладному стеклу окна палаты на первом этаже. И вот в окне показалась Светлана. Бледная, уставшая, но сияющая. Она бережно показала ему двух младенцев, обернутых в пелёнки, а потом прижала ладонь к стеклу изнутри. Он, затаив дыхание, прикрыл ее ладонь своей рукой снаружи, и сквозь холодное стекло между ними протекло молчаливое счастье и понимание, что жизнь разделилась на “до” и “после”.

Именно в этот миг за его спиной раздался скрипучий голос, от которого кровь застыла в жилах.

“Река-магушка предупредила. Неспроста.”

Артем обернулся. Перед ним стояла Агафья, староверка, которую в городе знали все и которую все побаивались. Маленькая, ссохшаяся, как лесной орех, она ходила босиком даже в мороз. Это она за год до того, ни с того ни с сего, пробормотала на рынке: “В цеху сушильном огонь проснется, трое посинеют”. Через месяц на “Текстильмаше” действительно произошел небольшой взрыв в сушильном цеху, трое рабочих отравились угарным газом. Это она, увидев портрет одного очень известного московского чиновника в газете, сказала: “Скоро землю грызть будет”. Чиновник скоростижно скончался через две недели, о чём узнали все жители из новостей по телевизору. А совсем недавно, всего пару недель назад, она ходила по улицам и, глядя на запад, причитала: “Скоро оттуда ветер подует, несущий тихую смерть. Небо золою засыплет, но зола та будет не от огня, а от невидимого света, что пожирает плоть изнутри. Птицы слепые падать будут, и земля на том месте будет сто лет молчать, ибо металл, что там есть, дышит смертью”. Тогда эти слова показались такой дикой бессмыслицей, что их списали на обычное старческое бружжание. Никто ничего не понял.

И теперь она стояла перед Артемом, и ее слепые на вид глаза были прикованы к окну роддома, за которым были его сыновья.

“Две реки в одном русле потекли, – проскрипела она, и ее слова обжигали, как лед. – Одна – все чужие слёзы видеть, другая – миру небывалое являть. Не заладится у вас, Артем Оранский. Знаешь сам, какая доля у зрячих в стране слепых.”

Артем похолодел. Он знал. Он помнил отца.

“Что будет?” – только и смог выдохнуть он.

“Русь-матушка... падет на колени, – голос Агафьи стал зловеще тихим. – Вместе с градом вашим. Заводы умрут, и люди забудут, кто они есть. Тяжко будет. Но богатыри духа пришли. Ни в мечях их сила, ни в руках, а в сердце. Они душу этого места исцелят, а потом... потом и всю матушку-Россию поднимут. С колен поднимут. До таких высот, что и не снилось никому. Чудо ваше в люльке лежит. От него сила пойдет, какая миру неведома.”

Она повернулась и поплелась прочь, растаяв в утреннем тумане, поднимающемся от отступающей воды.

Артем снова посмотрел в окно. Светлана, не видя и не слышавшей старухи, улыбалась ему, показывая сыновей. Гриша сжал кулачки, будто готовясь к бою с целым миром. Витя спал, и на его лице застыла блаженная, неземная улыбка. Сердце Артема сжалось от любви и леденящего страха. Он понял пророчество слишком хорошо. Он был сыном политзаключенного, носителем опасного дара. И его сыновья, только что рожденные, уже несли на своих хрупких плечах бремя спасения. Он знал, за все приходится платить.

Глава вторая. О быте, хлебе и ночных кошмарах

В те первые месяцы после рождения близнецов квартира Оранских на улице Мира превратилась в идеально отлаженный механизм счастья. Механизм этот был собран любовью и руками Артема, который, казалось, обрел второе дыхание. По ночам он уже не складывал из ржавых болтов лики ангелов, а мастерил из фанеры и ваты мобиль, где вместо зверушек кружились вырезанные из поролонa и разукрашенные планеты. Он сам, не дожидаясь просьб, сконструировал и собрал по чертежам из журнала “Радио” стиральную машину-полуавтомат, чей грохот был похож на взлет ракеты, но зато спасал Светлану от бесконечной стирки в тазу.

Он был не просто отцом – он был инженером отцовства. Он менял пленки с сосредоточенностью хирурга, совершающего сложнейшую операцию, и пеленал сыновей так туго и аккуратно, что те походили на два стройных, пахнущих молоком и детским мылом свёртка. Он варил манную кашу, без единого комочка, и качал коляску ногой, читая вслух Светлане, уставшей после бессонной ночи, то статью из “Техники молодёжи”, то только что сочинённый экспромтом стишок про ползунки с оторванной пуговицей.

И странное дело – близнецы, вопреки всем ожиданиям хаоса, были на редкость вдумчивыми и спокойными младенцами. Они лежали в своей общей кровати и смотрели на мир большими, разными глазами: Гришин взгляд был цепким и изучающим, Витин – рассеянным и обращённым куда-то вглубь себя. Они редко плакали, разве что от голода или мокрых пелёнок, и засыпали, убаюканные мерным гулом города и тёплым голосом отца.

Однажды вечером, когда за окном садилось малиновое советское солнце, окрашивая дым от “Химмаша” в праздничные тона, Артём укладывал сыновей. Светлана, обессиленная, уже дремала на подушке. Витя, как всегда, отключился почти мгновенно. И в тот миг, когда его дыхание стало ровным и глубоким, Артём, поправлявший одеяло, замер. По комнате, чистой, пропахшей молоком и мылом, пополз иной, невозможный запах. Сладковатый, плотный, живой. Запах только что испечённого, дымящегося ржаного хлеба. Он исходил ниоткуда, заполняя собой пространство, осязаемый, как мебель в комнате. Артём понимающе улыбнулся, посмотрел на спящего Витю и тихо произнёс: “Расти, хлебодар. Расти.”

Но если дар Виктора был тихим и благостным, как благословение, то дар Григория обрушился на дом внезапно и страшно.

Случилось это глубокой ночью. Город спал. В квартире была тишина, нарушаемая лишь посапыванием Светланы и ровным дыханием младенцев. И вдруг этот покой разорвал крик. Не плач, не капризный всхлип, а пронзительный, животный, идущий из самой глубины маленького существа вопль ужаса.

Гриша не просто кричал. Он выл, бился в кровати, его глаза были закрыты, а крошечное тело напряжено до дрожи. Светлана вскочила как ошпаренная, с испуганным лицом кинулась к кровати, пытаясь взять его на руки, но он выгибался, не узнавая её. Отчаянный крик ещё чуть-чуть и разбил бы стёкла.

“Гришенька! Родной, что с тобой?” – лепетала она, в панике ощупывая его лоб, руки, ноги. Температуры не было. Сухой. Чистый.

Артём уже стоял рядом, бледный, с зажжённой свечой в руке (свет во всем квартале вдруг погас – плановое отключение).

“Колики, наверное, – сказал он голосом, в котором Светлана с её чутким слухом уловила фальшивую ноту. – Или просто приснилось что-то.”

“Приснилось? Такому малышу? Что такого должно было присниться? Так не кричат от сна, Артём!” – она прижимала к себе орущее, неумолимое тельце, а сама смотрела на мужа с мольбой и ужасом.

Артём знал, что это не колики. Он знал, что Гриша не просто проснулся. Он знал, что его сын, его маленький Восприемник, только что провалился в чужой кошмар. Куда конкретно, он не знал. В кошмар пьяницы дяди Миши с третьего этажа, которому снилось, что его заживо замуровывают в стене цеха. Или в ночной ужас соседской девочки-подростка, которую во сне преследовала безликая тень. Гриша вобрал в себя этот страх, этот чистый, неразбавленный ад, и его психика, не имея слов, выплеснула его наружу единственным доступным способом – первобытным криком.

“Всё хорошо, Света, всё пройдёт, – говорил Артём, беря у неё Гришу на руки и начиная мерно раскачиваться. – Вот видишь, просто испугался. Бывает у детей. Нервы.”

Он ходил с ним по комнате, напевая под нос бессмысленную, убаюкивающую песенку, а сам смотрел в тёмное окно, за которым спал его город – город, полный чужих, невидимых для всех, кроме его сына, кошмаров. Он чувствовал, как маленькое сердце Гриши колотится о его грудь, как судорожные всхлипывания постепенно стихают, сменяясь истощённой дрёмой.

Светлана, всё ещё дрожа, смотрела на них. Она не верила в колики. Она видела в крике Гриши что-то перевозданное и ужасное, чего не могла понять. И впервые за все месяцы безмятежного счастья в её душу закралась холодная, тонкая трещина страха.

А в это время Витя, разбуженный криком брата, лежал с открытыми глазами. Он не плакал. Он был спокоен. И в воздухе, смешиваясь с запахом страха, вновь витал едва уловимый, тёплый и добрый дух свежего хлеба, будто пытаясь им ответить, защитить, исцелить. Две реки текли в одном русле, и берега их только начинали проступать из тумана.

Глава третья. О том, как сны научились говорить

Годы текли над Прибрежском тем же неторопливым, полноводным течением, что и Ока. И для семьи Оранских они были на удивление ясными и солнечными. Близнецы росли, окруженные такой любовью, что она становилась почти осязаемой, как теплый воздух в комнате после долгого проветривания. Светлана, чья хрупкость с рождением сыночек обернулась стальной, но нежной силой, была для них живым воплощением доброты. Ее руки умели не только стирать и готовить, но и гладить по макушке так, что любая боль отступала, а ее голос мог рассказать сказку, в которую верилось безоговорочно.

Артем же был для мальчиков волшебником и первооткрывателем. Он не просто чинил сломанные машинки – он оживлял их, наделяя историей. Он не просто учил читать по азбуке, разложенной на полу, – он складывал из букв мосты в другие миры. К пяти годам Гриша и Витя уже всю щеголяли перед мамой умением прочесть вывеску “Гастроном” и могли пересчитать все свои солдатки. Но главные уроки происходили не за столом.

Однажды летним вечером, когда в квартире пахло вареной картошкой и укропом, а за окном гуляли дотемна другие ребята, братья устроились в своей комнате, в самом безопасном месте на свете – крепости, построенной из стульев и одеял.

“Вить, а как ты делаешь, что пахнет хлебом?” – спросил Гриша, разбирая деревянный паровоз.

Витя, строя башню из кубиков, нахмурился, весь превратившись в усилие.

“Я не делаю. Оно само. Я просто думаю о чем-то вкусном. О бабушкиных плюшках. Или о том, как мы с мамой в деревне у печки сидели. И тогда... тогда у меня внутри становится тепло, и запах выходит.”

“А у меня... у меня не бывает вкусных снов, – тихо признался Гриша, глядя в пол. – Мне всегда кто-то чужой снится. Сегодня дядя Вова с пятого этажа. Ему снилось, что он тонет. Вода холодная-холодная, и кричать не можешь. Я проснулся и долго не мог дышать.”

Витя бросил кубик и посмотрел на брата с детским, неподдельным ужасом.

“Ты живешь в чужих снах? Как в кино? А они... они тебя там не бьют?”

“Не бьют, – Гриша покачал головой. – Но иногда там так страшно, что я потом кричу. А ты... ты можешь сделать сон, где нет страшно? Чтобы дяде Вове не тонуть?”

“Не знаю, – честно сказал Витя. – Я могу сделать, чтобы пахло яблоками. Или чтобы было чувство, будто тебя мама обняла. А чтобы сон чужой изменить... Я не пробовал.”

Артем как раз проходил мимо, неся на кухню разобранный для починки телефон. Услышав обрывки разговора, он замер у двери, и сердце его сжалось. Он знал, что этот день настанет, но не думал, что так скоро. Дети говорили о своих дарах так же просто, как о новых игрушках, но в их словах была бездна, в которую страшно было заглянуть.

Он отодвинул полог из одеяла и вошел в их крепость. Два пары больших, испуганно-удивленных глаз уставились на него. Они поняли, что подслушали.

“Пап, мы просто...” – начал Гриша.

Артем сел на корточки, чтобы оказаться с ними на одном уровне.

“Я слышал, – тихо сказал он. – Про хлеб. И про дядю Вову.”

Витя потупился. Гриша сжал кулачки, готовый к отпору. Но отец не ругался. Он улыбнулся, и в его улыбке была легкая, едва уловимая грусть.

“Вы не делаете ничего плохого. Так бывает. У некоторых людей... слух абсолютный. А у других – другой дар.”

“Что такое дар?” – спросил Витя.

“Это как особое зрение, – подбирал слова Артем. – Ты, Витя, видишь то, чего нет, но что могло бы быть. Красивое, доброе, теплое. И ты можешь это... проявить. А ты, Гриша, – он положил руку на плечо старшему сыну, – ты слышишь то, о чем другие молчат даже во сне. Их боль, их страхи, их слёзы. Это тяжело. Очень тяжело.”

“А у тебя есть дар?” – Гриша смотрел на отца с внезапной надеждой, что он не один.

Артем кивнул. Он встал, подошел к полке и взял одну из своих металлических картин – сплетение проволоки и ржавых пружин, в котором угадывался силуэт летящей птицы.

“Видите? Люди смотрят и видят хлам. А я... я вижу сон этой пружины. Ей снилось, что она – птица. И я помогаю ей этим сном поделиться. Я... переводчик. С языка снов на язык вещей.”

Братья с благоговением смотрели на него. Их собственные странности вдруг обрели смысл и вес. Они были не чужими, не больными – они были продолжателями чего-то важного.

“А это... это из-за дедушки? Того, который там... в лагере?” – тихо спросил Гриша. Он слышал обрывки взрослых разговоров.

Тень пробежала по лицу Артема.

“Отчасти. Но наш дар – он не только от дедушки. Он... от самой земли нашей. От реки. От этого города. Он и благословение, и испытание.”

Он снова присел перед ними, и голос его стал серьезным, почти суровым.

“Запомните, оба. Никогда и никому не рассказывайте о своих снах. Ни маме, ни друзьям, никому. Мир... он не всегда готов принять тех, кто видит и слышит слишком много. Понимаете?”

Они кивнули, впечатленные его тоном.

“А ты... ты сможешь научить нас? – в голосе Вити слышалась мольба. – Как не бояться? Как делать правильно?”

Артем глубоко вздохнул, глядя в два пары ждущих глаз – одни, полные ночных ужасов, другие – невинных грез.

“Я попробую, – сказал он. – Но для этого нам нужно будет сходить в одно место. Особенное место.”

“Куда?” – хором спросили братья.

“На другую реку, – таинственно произнес Артем. – Она течет под нашей. И называется Подтесень. Но это... в следующий раз.”

И он вышел из крепости, оставив за собой шлейф самой волнующей интриги в мире, в котором чудеса только-только начинали поддаваться названиям.

Глава четвертая. О времени, что текло как патока

После того разговора в крепости из одеял жизнь в квартире Оранских приобрела новое, трепетное измерение – измерение ожидания. Для Гриши и Вити слово “Подтесень” стало магическим ключом, отпирающим дверь в настоящую тайну. Оно витало в воздухе за завтраком, когда они ели манную кашу, притаилось в скрипе половиц, когда они ложились спать, и шепталось им в уши вместе с шуршанием листьев за окном.

Сначала они ждали с восторженным нетерпением. Каждое утро Гриша, проснувшись, первым делом спрашивал: “Пап, мы сегодня пойдем на ту реку?” И Витя, еще не открыв глаз, уже обреченно кивал, словно говоря: “Да-да, конечно пойдем”.

Но Артем всякий раз находил причину для отсрочки. То на работе аврал – нужно было срочно пересмотреть чертежи для нового узла “Химмаша”. То погода стояла не та, хотя какая была та, он не объяснял. То нужно было помочь Светлане с генеральной уборкой, перебрать картошку в кладовке или починить протекающий кран у соседки тети Мани.

“В следующий выходной, – обещал он, и в его глазах читалась непростая смесь желания и опасения. – Обязательно.”

Шли дни, недели. Ожидание, сладкое и мучительное, начало менять свою природу. Оно превратилось в терпкий осадок на дне повседневности. Мальчики стали замечать то, чего не замечали раньше. Они видели, как папа, пообещав, вдруг замолкал и смотрел в окно на Оку долгим, отрешенным взглядом. Как его веселье порой становилось чуть слишком громким и нарочитым, словно он пытался заглушить им собственные мысли. Как его руки, такие уверенные за станком или с инструментом, иногда слегка дрожали, когда он зажигал вечернюю папиросу.

Их собственные дары, тем временем, крепили и требовали выхода.

Однажды Витя, расстроенный тем, что сломал любимую машинку, так сильно захотел утешения, что в гостиной внезапно запахло яблочным пирогом. Запах был настолько явственным, что Светлана, читавшая на кухне, даже поднялась проверить духовку.

“Ничего не пеку, Артем, – сказала она мужу с легким беспокойством. – А мне почудилось...”

Гриша же все глубже погружался в ночной океан чужих снов. Он уже контролировал себя и не кричал от ужаса, но просыпался в холодном поту, с глазами, полными чужой боли. Однажды утром он рассказал Вите, что видел сон дяди Коли, водителя автобуса. “Ему снилось, что он везет людей в никуда, а дорога все сужается, и вот уже колеса катятся по краю пропасти, и все молчат...”

Витя слушал, широко раскрыв глаза, и его собственный, тихий дар в ответ робко пытался создать в комнате ощущение безопасной, крепкой стены.

Ожидание Подтесени стало для них метафорой взросления. Они поняли, что обещания взрослых – не всегда твердая валюта, что за ними могут стоять страх, сомнение и какая-то

непонятная, тяжелая ответственность. Их счастливый, защищенный мир начал обрастать первыми, едва заметными трещинками.

Наконец, однажды субботним утром, когда за окном бушевал первый осенний ураган, срывая последние листья с берез, Артем собрал сыновей в гостиной. Лицо его было серьезным и решительным.

“Завтра, – сказал он просто. – Идем. Погода будет подходящей.”

“Но завтра же дождь!” – воскликнула Светлана, услышав это из кухни. Она знала, что он обещал мальчикам погулять у реки, но не знала, что речь идет не об Оке.

“Именно потому и идем, – ответил шепотом Артем, глядя на сыновей. – В такую погоду там никого не бывает.”

В ту ночь братья почти не спали. Гриша ворочался, прислушиваясь к вою ветра, который теперь казался ему не угрозой, а зовом. Витя лежал с открытыми глазами, и в темноте вокруг него то и дело возникали короткие, как вспышки, образы – отблеск на воде, которого он никогда не видел, тень от несуществующего дерева. Они боялись и жаждали этого момента с одинаковой силой. Ожидание закончилось. Впереди была река, текущая под рекой, и отец, наконец готовый стать их проводником в мир, где правила пишутся не людьми.

Глава пятая. О реке, что течёт под рекой

Утро было серым и слезливым. Дождь, не сильный, но назойливый, застилал город мокрой пеленой. Артем молча одевал сыновей в непромокаемые плащи и сапоги, лицо его было сосредоточенным и суровым. Светлана с беспокойством смотрела на них, но не спрашивала ни о чем. Она давно поняла, что между отцом и сыновьями есть связь, в которую ей не суждено проникнуть.

Они шли по пустынным улицам, минуя облезлые хрущевки и заснувшие до весны скверы. Город в такую погоду казался вымершим. Артем вел их не к главной набережной, а в сторону старых, полузаброшенных складов у воды, к месту, где когда-то был деревянный причал для маломерных судов. Теперь от него остались лишь скользкие, прогнившие бревна, уходящие в мутную воду Оки.

“Стойте здесь и не двигайтесь”, – приказал Артем, подходя к самой кромке воды. Он вытащил из кармана небольшой предмет – камешек с дырочкой, который когда-то нашел в кармане у Вити (ему снился сон о море, где он был вместе с отцом и братом). Теперь он был их общим якорем.

Артем зажал камень в ладони, закрыл глаза и что-то прошептал, слова тонули в шуме дождя и ветра. Гриша и Витя, затаив дыхание, смотрели, как пространство перед отцом начало колебаться, как нагретый воздух над асфальтом. Воздух над водой у старого причала сгустился, пошел рябью и, наконец, разорвался, как гнилая ткань. За ним открылся не проход, а скорее ощущение прохода – дрожащая светом дверь в иное измерение.

“За мной. Быстро и не оглядывайтесь”, – строго сказал Артем и шагнул в пустоту.

Братья, держась за руки, последовали за ним. Миг головокружительной легкости, словно падение во сне, – и они оказались на берегу.

Но это был не берег Оки.

Воздух был неподвижным и густым, пахнувшим озерной водой, прелыми листьями и чем-то еще – смутной памятью, тревогой, мечтой. Небо над головой было не серым, а переливающимся, как масляная пленка на воде, и на нем не было ни солнца, ни туч. А перед ними текла Река. Она была не из воды, а из света, тени, цвета и звука. Ее волны были прозрачными и вязкими, как сироп, и в них, словно капли масла, переливались обрывки образов: чье-то смеющееся лицо, летящая птица, горящее окно, знакомый силуэт завода. Течение было медленным, почти ленивым, но в его глубине чувствовалась огромная, неспешная сила.

“Это Подтесень, – тихо сказал Артем. Он стоял, вглядываясь в переливы реки, и его лицо было печальным. – Река снов нашего города. Такой я ее еще не видел. Обычно она полноводная, чистая и живая.”

“Она... больная?” – спросил Гриша, его взгляд, привыкший к чужим кошмарам, сразу уловил в красивых переливах тревожные ноты: где-то мелькнула тень с горящими глазами, где-то проплыл звук ссоры.

“Не больная. Она – честная, – поправил отец. – Она показывает, что у людей на душе. Смотрите.”

Он указал на поток. В целом он был тусклым, мутноватым. Преобладали серые, грязно-желтые и коричневые тона. Вспышки ярких, радостных цветов были редки и быстро гасли. Из реки доносился невнятный гул – шепот тысяч спящих умов, в котором ясно различались ноты тревоги, усталости, однообразной скуки.

“Видите? Город устал. Он не верит в хорошее. Он боится. И река несет эти сны. Такой же она была перед войной, рассказывал мой отец. А потом... потом она стала черной и горькой, как полынь.”

“А твой отец... наш дедушка... он тоже приходил сюда?” – спросил Витя, не отрывая глаз от волны, которая на мгновение приняла форму его собственного сна о летающем доме.

“Да. И его отец тоже. Этому знанию в нашем роду не одна сотня лет. Нас всегда тянуло к этой реке, как водоворотом. Мы – смотрители. Но смотрители не всегда могут что-то изменить.”

Артем обернулся к сыновьям, и его лицо стало суровым.

“Слушайте меня внимательно. То, что вы видите, – не игрушка. Это место силы, но и место смертельной опасности.”

Он указал на дальний берег, где над рекой клубились серые, бесформенные клочья тумана.

“Видите эти тени? Это “Туманы”. Они рождаются из страха, злобы, отчаяния. Они питаются светлыми снами. Если такой тени дотронуться до тебя, она может высосать из тебя все радостные воспоминания, оставив только пустоту и холод. Они еще слабы, но в тяжелые времена... они становятся сильнее и смелее.”

“А еще... – он посмотрел на Гришу, – никогда не пытайся войти в чужой сон, что плывет здесь, без моего разрешения. Некоторые сны – как трясина. Можно застрять в них навсегда, забыв, кто ты. Твоя сила, сын, делает тебя особенно уязвимым.”

“А я?” – тихо спросил Витя.

“Твои сны – как мед. Они приманивают не только “Туманы”, но и... других. Сущности, что жаждут красоты, чтобы исказить ее. Твой дар – огромная ответственность. Не разбрасывайся им.”

Он помолчал, давая словам улечься в детских душах.

“Мой отец показал мне это место, когда мне было немногим больше ваших лет. Но он не успел научить меня всему. Его забрали. И многому мне пришлось учиться самому, на своих ошибках. Я до сих пор не знаю всех тайн Подтесени и всех ее обитателей. Говорят, на дне ее спят сны давно умерших поколений, а в истоках течет чистая душа России. Но я там не был. Это вам, может быть, предстоит.”

Вдруг Гриша вздрогнул и указал на середину реки. Там, в толще потока, проплыл огромный, темный сгусток, от которого расходились черные, липкие волны. От него исходил немой крик, полный такого ужаса и безнадежности, что Витя невольно схватился за руку отца.

“Что это?” – прошептал он.

“Это “Ядро”, – мрачно ответил Артем. – Сгусток самых тяжелых, самых больных снов. Страх безработицы, нищеты, потери будущего. Оно только формируется. Но оно растет. И с ним однажды придется что-то делать.”

Артем долго смотрел на темнеющие, беспокойные воды Подтесени, прежде чем заговорить снова, и голос его звучал устало и мудро, как скрип вековых деревьев.

“Вы спросили, кто мы здесь. Мы – не правители и не стражи в обычном смысле. Мы – Смотрители. Так говорил мне мой отец, и его отец – ему.”

Он повернулся к сыновьям, и в его глазах горел отблеск светящейся реки.

“Наш дар – это не только способность видеть. Это и ответственность. Мы не можем бежать по улицам и кричать, что в душах людей зреет тьма. Нас не поймут, а могут и счесть безумцами, как бывало. Наша работа иная. Мы – защитники берегов.”

“Берегов?” – переспросил Витя.

“Да. Берега этой реки, – Артем махнул рукой в сторону переливчатого потока. – И берега той, что наверху, в нашем мире. Подтесень и Ока – как две стороны одной монеты. Что происходит здесь, рано или поздно просачивается наверх. Отчаяние здесь рождает “Туманы” – а там, в мире, оно рождает пьянство, злобу, жестокость. Они не знают, откуда ветер дует. А мы – знаем.”

Он присел на корточки, чтобы быть с ними наравне.

“Смотритель не лезет в чужие сны, чтобы их менять. Он наблюдает за течением. Чувствует, где вода становится особенно черной и густой – значит, в какой-то части города скопилась беда. Чувствует, где зарождается светлый поток – значит, есть надежда. Наша задача – не давать берегам размыться окончательно. Чтобы тьма отсюда не хлынула в ваш мир лавиной, а светлые сны – не угасли, не растворились в этом болоте. Мы... балансируем. Держим равновесие. Иногда – просто своим присутствием, знанием. Иногда – тихим, невидимым для всех жестом: можно поправить “якорь”, усилить светлый сон, чтобы он не погас, или... отогнать “Туман” от особенно уязвимой души. Но делается это тихо, как шепот. Иначе равновесие нарушится.”

Он посмотрел на Гришу, потом на Витю, и взгляд его стал тяжелым.

“Мой отец не успел научить меня всему. Многому я учился сам, на своих ошибках. И я не знаю всех тайн Подтесени. Я знаю только, что если смотрителей не станет, связь порвется. Берега рухнут. И тогда тьма из снов выйдет на улицы уже не метафорой, а чем-то похуже. Город может погрузиться в безумие, даже не понимая, почему. Вы – пятые в известной мне череде. И этот долг, эта ноша... теперь и ваша. Не для славы. Не для власти. А для тихого, неблагодарного, невидимого миру служения. Чтобы река текла, а не захлебнулась собственной горечью.”

Он повел их обратно, к дрожащей завесе, ведущей в реальный мир. Возвращение было похоже на резкое пробуждение. Они снова стояли на скользких бревнах причала, и холодный

осенний дождь бил им в лица. Но внутри у них горел огонь – огонь знания, страха и странной, неизбывной надежды. Они видели реку, текущую под рекой. И теперь их жизнь была с ней навсегда связана.

Глава шестая. О первом звонке и последних снах

Тот год воздух в Прибрежске стал иным. Он был густым, как кисель, и горьким, как полынь. Прежние сладковатые дымы с заводов стали жидкими и едкими, а потом и вовсе стали появляться все реже. Город будто выдыхал последнее, и в его легких оставалась лишь пустота.

Эта пустота добралась и до квартиры Оранских. Светлану, как и многих других, “оптимизировали” в больнице. Она принесла домой сухую справку о сокращении и молча просидела весь вечер у окна, глядя на потемневшие корпуса “Химмаша”. Артем пытался шутить, говорил, что теперь у них будет свой личный врач на дому, но шутки висели в воздухе тяжелыми камнями.

Сам Артем приходил с работы все позже, а в глазах его появилась усталая усмешка. Вместо зарплаты ему, как и другим инженерам, стали выдавать длинные синие коробки с надписью “Спирт этиловый”. Он приносил их домой и прятал на антресолях с таким видом, будто это были трофеи с какой-то странной войны.

“Ничего, Света, – говорил он жене, которая смотрела на эти коробки с тихим ужасом. – Это ведь тоже деньги. Меняем, продаем... Все наладится. Я все решу.”

Он действительно решал. Он тайком продавал эти бутылки, менял на сахар, крупу, мыло. И однажды разложил на столе две новеньких, пахнущих типографской краской школьных формы, ранцы с изображением Чебурашки и портфель с персонажами из Простоквашино, а также целый ворох тетрадок, карандашей и пластилиновых палочек.

“Вот видишь, – сказал он Светлане, – собрали. Как все.”

Светлана смотрела на все это богатство и плакала. Но это были слезы облегчения.

Первое сентября 1991 года выдалось на удивление ясным и теплым. Солнце, будто решив напоследок вспомнить о своем долге, заливало золотым светом двор школы №13. Девочки в белых фартучках и бантах, мальчики в строгих костюмах, море гладиолусов, трепетавших на ветру, как взволнованные сердца. Звучала торжественная музыка, и первая учительница, Валентина Петровна, с неизменной улыбкой встречала своих новых “птенцов”. Это был последний, идеально сохраненный слепок советского детства. Для Гриши и Вити, стоявших рядом и сжимавших в потных ладонях букеты, это был просто праздник. Они не видели трещин на фасаде, не слышали тревожных нот в голосах взрослых. Для них мир все еще был прочным и надежным.

Но ночи принадлежали иному миру. Гриша все глубже погружался в пучину чужих кошмаров. Теперь это были не просто страхи, а целые сюжеты обнищания, потерь, драк в пустых магазинах. Однажды ему приснился сон их соседа, дяди Коли, который работал водителем. Тот стоял на краю обрыва, а его автобус, полный пассажиров с пустыми глазами, медленно скатывался в пропасть. Дядя Коля кричал, но не мог издать ни звука.

Гриша зашелся в привычном, удушливом крике, вырываясь из сна. Проснулся весь дом. Светлана вбежала в комнату, зажигая свет. Артем был уже рядом.

“Опять... дядя Коля...” – всхлипывал Гриша, не в силах объяснить весь ужас.

Витя, разбуженный криком брата, сидел в своей кровати. Он видел, как мучается Гриша, и ему стало до боли жалко. Он закрыл глаза и изо всех сил попытался представить что-то хорошее. Не просто запах, а целый сон. Сон, в котором дядя Коля не падает в пропасть, а ведет свой автобус по цветущему лугу, а пассажиры смеются и поют. Он вложил в эту картинку все свое тепло, всю свою любовь, весь свой дар.

Гриша перестал кричать, уснул и, может быть, впервые улыбнулся во сне. Проснувшись утром, он сел в кровати и удивленно прошептал брату:

“Представляешь, Вить... У дяди Коли... все изменилось. Во сне он... вез людей на пикник. И все смеялись.”

Витя с облегчением улыбнулся. Он сделал это! Он изменил сон!

Они не знали, что этой же ночью в соседней квартире их сосед, дядя Коля, который ворочался в постели, стиснув зубы от своего кошмара, вдруг расслабился. На его лице появилась улыбка. Ему приснилось, что он ведет свой автобус по бескрайнему солнечному полю, а его пассажиры пели старую, добрую песню. Он проснулся утром с необычайной легкостью в сердце, с ощущением, что все не так уж плохо.

Братья, притихшие и впечатленные, сидели в своих кроватях и смотрели друг на друга. Они прикоснулись к чему-то огромному, к силе, о которой даже их отец, наверное, не догадывался. Они смогли не просто увидеть или создать сон, но и изменить его.

“Это как в Подтесени, – прошептал Гриша. – Только... без реки.”

“Мы можем делать добро, Гриш, – с восторгом сказал Витя. – Мы можем помогать.”

Они не понимали тогда всей ответственности и всех последствий. Они не знали, что, меняя один сон, они запускают цепь непредсказуемых событий в реальности. Они были как дети, нашедшие в лесу незнакомый рычаг гигантской машины и дернувшие его из любопытства. Они прикоснулись к верхушке айсберга, даже не подозревая, какая монументальная глыба скрыта под водой. Но в тот день они испытали чувство тихого торжества. В их руках оказалась не просто странность, а сила. И это меняло все.

Глава седьмая. О том, как ржавчина съедает сталь

Если бы существовал прибор, измеряющий степень отчаяния, стрелка в Прибрежске застыла бы в красной зоне. Город погружался в трясину, и эта трясина засасывала все – улицы, дома, души. Асфальт трескался, как сухая глина, и из трещин прорастала бурьянная тоска. Окна пустующих цехов “Химмаша” смотрели на мир ослепшими глазами-проломами, а по вечерам в их чреве гулял только ветер, насвистывая похоронный марш ушедшей эпохи.

В квартире Оранских пахло бедностью. Не той уютной, а горькой, как окурки в пепельнице. Светлана, как тень, скользила между комнатами, пытаясь растянуть скудные запасы. Ее спасали деревни. Она обходила окрестные села, делая уколы старикам, перевязывая раны, выслушивая жалобы. Платили ей натурой: морковкой, картошкой, иногда куском сала или десятком яиц. Эти дары земли были единственной прочной валютой в мире, где бумажные деньги превращались в пыль. Она приносила их домой, разворачивала из платка, и Артем смотрел на эту еду с таким стыдом, что ему хотелось провалиться сквозь землю.

Его собственный вклад в семью – синие коробки с надписью “Спирт этиловый” – обесценился. Рынок был перенасыщен, менять их стало невероятно сложно. Инженерный ум, способный рассчитать нагрузку на металлоконструкцию, отказывался понимать новую алгебру выживания. Он видел, как его коллеги, такие же солидные мужчины, обладатели дипломов и госнаград, один за другим начинали употреблять тот самый спирт. Сначала по праздникам, потом по выходным, а потом и в будни, потому что грань между ними стерлась.

Артем держался. Он держался из последних сил, глядя в испуганные глаза сыновей. Но творческая душа, не находя выхода в металле и стихах, искала забвения. Первая рюмка была горькой и обжигающей. Вторая – притупляющей остроту стыда. Третья – размывающей границы между кошмарной реальностью и временным небытием.

Он пил не для веселья, а для того, чтобы уснуть. Чтобы не видеть, как Светлана, убираясь в квартире, плачет от бессилия. Чтобы не слышать, как сыновья за стенкой шепчутся о чужих снах, в которых тоже было только падение. Он пил, и его творческий дар, не находя иного выхода, начинал творить кошмары наяву. Ему мерещились шепчущие тени в углах, а в гудении ветра он слышал голос отца из лагерной пыли.

Ссоры в доме стали таким же обыденным явлением, как скрип половиц.

“Опять? Артем, опять?! – голос Светланы из милого щебета превратился в надтреснутый крик. – Ты же видишь, в каком мы состоянии! Дети...”

“А что я могу сделать?! – рычал он в ответ, и в его глазах бушевала ярость, направленная на самого себя. – Предложи! Чертежами питаться будем? Я делаю все, что могу!”

Гриша и Витя, прижавшись друг к другу в своей комнате, слушали эти перепалки. Они чувствовали это всеми фибрами своих душ. Гриша был вынужден не только видеть кошмары чужих семей, но и проживать отчаяние собственного отца, которое било на него, как ударная волна. Витя пытался противостоять этому, насылая в квартиру запахи свежего хлеба или образы тихих садов, но его светлые сны разбивались о пьяное отчаяние, как стеклянные шары о бетон.

А за стенами их квартиры город стремительно делился на черное и белое, и белого было все меньше. На центральных улицах, как ядовитые грибы после дождя, выросли первые коммерческие киоски и ларьки, обшитые дешевым пластиком. Возле них стояли молодые парни в кожанках с пустыми глазами и тяжелыми взглядами. Они смотрели на таких, как Оранские, с холодным презрением. Это были новые хозяева жизни, и их сила была в кулаках и в отсутствии сомнений.

Артем, проходя мимо, чувствовал их взгляды на своей спине. Он, инженер, создававший сложнейшие механизмы, теперь был никем. Его знания, его талант, его дар – все это не стоило и горсти тех рублей, что эти парни с легкостью отсчитывали за пачку сигарет или бутылку водки. Расслоение было не просто экономическим – оно было экзистенциальным. С одной стороны – те, у кого была сила отбирать, с другой – те, у кого не осталось ничего, что можно было бы отнять, кроме последних клочьев достоинства.

И этот последний клочок ржавел, как корпус старого станка, брошенного под открытым небом. Артем чувствовал, как его воля, его сталь, та самая, что он так любил воспевать, покрывается рыжими пятнами бессилия. Он пил все чаще. Теперь не только дома, но и в гаражах, и в подсобках завода с такими же, как он, потерянными людьми. Они пили свой спирт, этот суррогат надежды, и говорили о прошлом, потому что будущее было слишком страшным, чтобы о нем думать.

Однажды вечером, придя домой особенно разбитым, он увидел, как Витя пытается “починить” сломанную табуретку, вкладывая в дерево свой дар, чтобы оно срослось. А Гриша, бледный, сидел в углу и смотрел в одну точку – он только что вернулся из чьего-то сна о грабеже.

Артем посмотрел на них, и в его пьяном, затуманенном сознании вспыхнула ясная, как удар ножа, мысль: он не может их защитить. Он не может дать им ни хлеба, ни безопасности, ни даже надежды. Он – проржавевший щит, который рассыплется при первом же ударе.

Он повернулся и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Он не знал куда идет. Он просто шел, и каждый его шаг по темнеющим улицам города, который он когда-то любил, был шагом к последней черте. А за ним, незримо, тянулась темная, густая река его собственных снов, в которой уже не было ни металла, ни птиц, только тихая, всепоглощающая тьма.

Глава восьмая. О том, как сталь ломается

Тот вечер был из тех, что впитываются в асфальт вместе с кровью и остаются там навсегда, как несмываемое пятно. Артем шел по городу, не разбирая дороги. Ноги несли его сами, уводя от дома, где пахло бедностью и отчаянием, от взгляда жены, в котором он читал упрек, смешанный с жалостью, от тихих разговоров сыновей о снах, которые были страшнее любой реальности.

Он оказался возле нового коммерческого ларька, ярко освещенного, обшитого желтым пластиком. Он выделялся на фоне серых хрущевок как инородное, кричащее тело. Возле него стояли двое – Саша и Олег. Артем помнил их мальчишками, бегавшими на тренировки по боксу в спортзал завода. Теперь они были взрослыми, с пустыми, ничего не выражающими глазами и уверенностью в позе. Они разговаривали с Лидией Петровной, бывшей заведующей универмагом, а теперь владелицей этого ларька.

Артем приостановился, наблюдая. Он не слышал слов, но видел язык тела: агрессивные позы парней, высокомерно скрещенные руки Лидии Петровны, ее презрительную ухмылку. Она что-то резко бросила им в ответ, и ее жест был отточенным кинжалом. И тогда Олег, не выдержав, резко, с размаху, ударил ее по лицу не кулаком, а раскрытой ладонью. Это был не удар ярости, а удар унижения. Звук шлепка был негромким, но отвратительным.

И в Артеме что-то щелкнуло. Не благородный порыв, не героизм. Это было что-то глубинное, животное, отеческое. В этих двух озверевших пацанах он вдруг увидел призрачное будущее своих сыновей – будущее, в котором чтобы выжить, нужно было бить женщин и отнимать последнее.

Он подошел, шатаясь, но не от алкоголя, а от нахлынувших чувств.

“Лидия Петровна, идите домой”, – сказал он тихо, но так, что она послушно, потерши щеку, юркнула в темноту.

Парни обернулись. Узнали.

“Дядя Артем, – сказал Саня, скуляще. – Мы тебя знаем. Уважаем. Но это наш хлеб. Не лезь, а то будет хуже.”

Артем смотрел на них не с ненавистью, а с какой-то странной, пронзительной жалостью.

“Мужчина... – голос его был хриплым, но твердым. – Мужчина не может поднимать руку на женщину. Это не сила. Это гнусь. Если ты сильный, найди себе равного. Соперничай с мужчиной.”

Он снова повернулся к темноте, куда скрылась Петровна.

“Идите домой!” – крикнул он, уже приказывая. А потом обернулся к парням: “Теперь ее здесь нет. Стою я. Говорите со мной.”

Олег фыркнул.

“Артем, ты чего разнылся? Ты ж инженер. Ты с нами не выдержишь. Вали отсюда по хорошему, пока целый.”

В глазах Артема вспыхнул огонек. Огонек последней, отчаянной решимости. Ему не было места в этом мире. Его знания были никому не нужны, его дар – проклят, его семья – нища. Но здесь и сейчас он мог сделать единственное, что оставалось. Он мог преподать урок. Он мог попытаться выбить из них эту грязь, эту новую “правду”, даже если это будет стоить ему жизни.

“Со щенками справлюсь”, – тихо сказал Артем.

И началось.

Первый удар Олега, быстрый, как змеиный язык, пришелся ему в висок. Искры брызнули из глаз. Второй, Сани, в солнечное сплетение, вырвал из легких воздух. Молодые, сильные, тренированные тела против одного, измотанного, немолодого, ослабевшего от алкоголя и горя.

Они думали, он упадет. Они думали, он сдастся, поползет, уйдет.

Но Артем не ушел. Он встал. Пошатываясь, плюнул кровью на асфальт и пошел на них. Он не бил с яростью. Он бил с отчаянием. Каждый его удар был криком: “Не будьте такими!” Каждый пропущенный удар был подтверждением его собственной ненужности.

Он не чувствовал боли. Вернее, чувствовал, но она была где-то далеко, за толстым стеклом. Хруст его собственного ребра прозвучал для него как сломанная ветка. Удар по лицу расплылся в мокрое пятно. Он падал. Поднимался. Снова падал.

Ребята сначала били с усмешками, потом с раздражением, потом со злобой. Их не остановить. Этот старый упрямый дурак не понимал правил игры.

“Хватит, дядя Тёма! Слышишь? ХВАТИТ!” – кричал Саня, в ярости снова сбивая его с ног ударом в лицо.

Но Артем продолжал, вставал, бил со всех своих сил, лежа хватал за ноги и ронял на асфальт. С каждым его ответом, братья били сильнее.

Олег в ярости продолжал бить уже лежачего Артема, а Саня пытался его безуспешно остановить.

И уже с жалостью проговорил:

“Ну зачем так, дядя Тёма? Мы же не хотели.”

Но Артем уже не слышал. Мир сузился до вспышек света в глазах и одного единственного образа – лиц его сыновей. Гриши, с его вечными кошмарами. Вити, с его тихими чудесами. Он видел их такими ясно, будто они стояли рядом.

“Простите...” – прошептали его губы, уже не способные издать звук.

Он понял, что это конец. Не героическая смерть, а жестокая, тупая, бессмысленная. Но в этой бессмысленности был его последний, отчаянный смысл. Он не убежал. Он не согнулся. Он попытался.

Последнее, что он почувствовал, – это не боль, а тяжелые удары подошв по голове. А потом – тишину. И в этой тишине ему показалось, что он слышит, как где-то совсем рядом, под самым асфальтом, течет река. И она плачет.

Глава девятая. О тишине, которая кричала

Известие пришло не звонком, а стуком в дверь. Тяжелым, мертвым стуком, который навсегда разделит жизнь Гриши и Вити на “до” и “после”. За дверью стоял участковый, молодой и очень бледный, и двое соседей, отводящих глаза. И пока взрослые говорили приглушенными, ломающимися голосами, Гриша и Витя стояли в дверях своей комнаты, понимая все без слов.

Они и так уже знали.

Гриша проснулся за час до стука, задохнувшись от чужой, чудовищной боли, в которой вдруг узнал отцовскую душу. А Витя, в ту же секунду, почувствовал, как из мира ушло что-то огромное и теплое, словно погасло огромное солнце, согревавшее их маленькую вселенную. В воздухе повис крик, который никто не услышал.

Потом был вой. Не плач, а именно вой. Светланин. Звук, который, казалось, рвет ткань реальности, выворачивает душу наизнанку. Она не рыдала, она выла, как раненый зверь, билась головой о косяк двери, и ее не могли удержать. Этот звук впивался в мальчиков острыми зазубренными крючьями, и они понимали, что никогда, никогда его не забудут.

Следующие дни слились в одно серое, безвоздушное пятно. Похороны прошли как в тумане. Гроб, цветы, чужие лица, искренние и не очень. Гриша все время сжимал руку Вити, и сквозь ладони между ними текли два разных вида горя: Гришино – острое, наполненное чужими образами той ночи, и Витино – тихое, глухое, как пустота после обвала.

Вернулись домой. Дом перестал быть домом. Он стал склепом, наполненным призраком Артема. Его недокуренная папироса на балконе. Его инженерные чертежи на столе. Его запах, который еще витал в складках штор. Светлана перестала быть матерью. Она превратилась в статую скорби. Она сидела на кухне, уставясь в одну точку, и не реагировала ни на что. Не готовила, не убирала, не говорила. Просто сидела, и из ее глаз беззвучно текли слезы, капля за каплей, словно источался сам ее жизненный сок.

Братья остались одни. Вдвоем против мира, который в одночасье лишился смысла и опоры. Они не говорили о случившемся. Слова были бесполезны. Вместо этого они молча делали то, что должна была делать мать. Витя, сжав губы, пытался сварить картошку. Гриша вытирал пыль, в которой видел отпечатки пальцев отца.

Ночью Гриша проваливался в кошмары. Но теперь это были не чужие сны. Это была та самая темная аллея, тот хруст костей, тот последний взгляд. Он просыпался, зажав рот рукой, чтобы не закричать и не напугать мать. И каждый раз, просыпаясь, он видел, что Витя не спит. Он сидит на своей кровати и смотрит на него в темноте, и в комнате стоит густой, как бульон, запах свежего хлеба – единственная защита, которую он мог предложить, единственное утешение, которое у него осталось.

Они спали в одной кровати, как в раннем детстве, прижавшись друг к другу спинами, пытаясь согреться в ледяном доме, где умер огонь. Их миры, всегда такие разные, теперь сли-

лись в одном горе. Гриша видел боль, а Витя пытался ее заткнуть светом. Но свет был слабым, а боль – бездонной.

Как-то раз Гриша, проходя мимо кухни, увидел, как мать берет со стола кружку, из которой пил отец в свое последнее утро. Она прижала ее к груди, закрыла глаза и замерла, словно пытаясь впитать в себя последние крупички его тепла. И в ее позе было столько безысходности, что Гриша не выдержал и убежал в свою комнату, давясь слезами.

В тот вечер Витя, не говоря ни слова, поставил на тумбочку между их кроватями маленький цветок в горшке. Цветок был давно мертв, но Витя смотрел на него с таким сосредоточенным усилием, что Грише почудился едва уловимый, горьковатый аромат увядших лепестков. Это был сон о красоте, которая когда-то была. О мире, который когда-то был целым.

Они лежали и молчали. А за окном шумел город, который убил их отца. Тот самый город, душу которого они должны были, по пророчеству, исцелить. Сейчас они не могли исцелить даже самих себя. Они просто были. Два близнеца. Две сироты. Два хранителя реки, которая унесла их детство и теперь текла сквозь их сердца, черная от горя и ярости.

Глава десятая. Об уроках, которых нет в расписании

Школа №13 стала для братьев Оранских не вторым домом, а первой вселенной, живущей по своим жестоким и неочевидным законам. Здесь, в коридорах, пахнущих мелом, сыростью и детским потом, их дары обрели социальное измерение.

Гриша был изгоем. Не потому что слабый или ябеда, а потому что “странный”. Он мог засмеяться невпопад, услышав чью-то смешную сонную мысль, или вдруг вздрогнуть и побледнеть на ровном месте, когда в соседнем классе кто-то вспомнил свой ночной кошмар. Он смотрел на людей не в глаза, а куда-то за них, будто видел их отражение в воде. Ребята это чувствовали и сторонились. Кто-то прозвал его “Соней”, кто-то “Призраком”.

Главный задира их параллели, Димка Крутов, сын “нового русского” (который торговал тем же заводским спиртом, но ворованными фурами в Москву на спиртзаводы), любил его “прощупывать”.

“Ой, Оранский опять в облаках витает! – кричал он, загоразивая Грише путь в столовой. – Ты там, в своих фантазиях, хоть покушать успеваешь?”

Окружение хихикало. Гриша лишь поднимал на Диму странный, проникающий взгляд. Он знал, что Димке каждую ночь снится, как его хмельной отец бьет посуду, а мать плачет в подушку. Он видел его страх оказаться слабым, нищим, как те, кого он гнобит. И вместо злости Гриша чувствовал... жалость.

“Отстань, Крутов, – тихо говорил он, – тебе же хуже будет.” И почему-то после этих слов Димка на секунду терялся, а потом, отводя глаза, бурчал что-то и уходил. Гриша не лез в драку. Зачем бить того, кого уже изнутри съедает чудовище пострашнее?

Витя же был всеобщим любимцем. Не лидером, нет, но тем, к кому все неосознанно тянулись. Он не был самым умным или самым сильным, но с ним было “хорошо”. Он умел вовремя пошутить, утешить, найти потерявшуюся ручку. И дело было не только в характере. Его дар работал как невидимый магнит. Подсознательно, не управляя этим, он “сглаживал” острые углы в мыслях одноклассников. Девочке Оле, переживавшей из-за прыщика, мог присниться сон, что она принцесса, и утром она просыпалась в хорошем настроении. Забияке Пете, мечтавшему о собаке, но не говорившему никому, Витя мог “подкинуть” в сон ощущение теплого, верного друга у ног. Люди не понимали, почему после разговора с Витей им становилось легче. Они просто тянулись к источнику тихого, бесплатного тепла.

Но эта популярность была клеткой. Витя был окружен людьми, но страшно одинок. Он не мог ни с кем поделиться главным: ни страхом за мать, которая так и не ожила после смерти отца, ни грузом ответственности за брата, ни тайной Подтесени. Его улыбка была самой искренней и самой прочной стеной.

Одноклассники у них были разные:

Сергей “Ботан” Лопатин – тихий, в очках, лучший друг Гриши. На самом деле, их связывала не дружба, а взаимное невмешательство. Они могли молча сидеть за общей партой, каждый в своем мире, и это было комфортно. Сергей видел в Грише не странного, а глубокого.

Катя Зотова – рыжая, ершистая, дочь оставшегося без работы слесаря. Ей нравился Витя своей непохожестью на грубых пацанов, но она стеснялась подойти. Ее сны были полны гневных, ярких красок – она много дралась, в жизни и во сне.

Димка Крутов – уже упомянутый, живой символ нового расслоения: дорогая куртка, наглый взгляд и пустота внутри, которую он заполнял дешевой властью над слабыми.

И была Аня. Анна Соколова. Она появилась в параллельном классе в середине учебного года, когда ее отца-военного перевели в угасающий гарнизон под Прибрежском. Она была другой. Не из их мира. В ее осанке, в ясном взгляде было что-то от того, старого, исчезнувшего порядка – достоинство без высокомерия. Она хорошо училась, говорила тихо, но четко, и не боялась ни Димкиных шуток, ни косых взглядов.

Гриша влюбился в нее мгновенно и бесповоротно. Но не потому что она была красивой (хотя и была). А потому что впервые за все время он, заглянув в чужой сон (непроизвольно, он не мог с этим совладать), увидел не кошмар, не суету, а нечто умиротворяющее. Ей снился сон о том, как она читает книгу в старом парке, а вокруг падает мягкий, белый снег. Тишина. Покой. Чистота. Этот сон стал для него глотком свежего воздуха в вечной тюрьме чужих страданий.

Он не смел с ней заговорить. Он лишь украдкой наблюдал за ней, а когда их взгляды случайно встречались, краснел и отворачивался, чувствуя себя уродливым подглядывателем, вором ее спокойствия.

Как-то раз после уроков Димка с приятелями попытался “подкатить” к Ане, блокируя ей путь у раздевалки.

“Чё, “военная косточка”, с нами пива не хошь? Папины погоны уже не в моде!”

Аня лишь приподняла подбородок, глядя на него как на пустое место. Эта холодная уверенность вывела Димку из себя. Он уже собирался схватить ее за портфель, как вдруг между ними возник Витя. Не Гриша, который стоял в стороне, сжав кулаки и видя все страхи Димки как на ладони, а именно Витя.

“Да ладно тебе, Дима, – сказал Витя с той своей, обезоруживающей улыбкой. – Не царское это дело. Иди лучше с нами, в кабинете информатики можно поиграть в Поле Чудес.”

Он не стал угрожать или давить. Он просто... переключил внимание. И мягко, ненавязчиво, вложил в пространство между Димкой и Аней легкое, почти неуловимое ощущение скуки от этой затеи. Димка поморщился, словно вспомнив что-то неинтересное.

“Да пошли вы все, ботаники”, – буркнул он и, плюнув, удалился.

Аня посмотрела на Витю с легким удивлением.

“Спасибо, – сказала она просто.

“Не за что, – улыбнулся Витя. – Я Витя Оранский. А это мой брат, Гриша.”

Гриша, пойманный врасплох, только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он встретился с Аниным взглядом, и ему показалось, что в ее глазах на миг мелькнуло не просто любопытство, а что-то вроде... узнавания? Как будто и она что-то почувствовала.

В тот вечер, вернувшись домой в свою тихую, холодную квартиру, братья обсуждали день.

“Она тебе нравится, да?” – спросил Витя, разогревая на плите скудный ужин.

Гриша молча кивнул, уткнувшись в учебник.

“Она... не такая как все. В ее сне тихо”, – проговорил он наконец.

“Может, она тебе и приснится когда-нибудь, – мягко пошутил Витя, зная, что для Гриши это не шутка, а либо награда, либо пытка.

“Не надо, – резко сказал Гриша. – Я не хочу влезать в ее сны.”

Он хотел, чтобы хоть что-то в этом мире оставалось чистым, неприкосновенным и настоящим. Аня стала для него таким символом. Островком тишины в реве чужих душ. И этот островок был таким хрупким, что одно неверное движение, одно проявление его проклятого дара могло его разрушить. Школа учила их не только алгебре и истории. Она учила их главному уроку: их дар был одновременно благословением и проклятием, мостом и стеной. И с каждым днем эта стена между ними и остальным миром, и даже между ними двумя, росла, становясь все толще и неприступнее.

Глава одиннадцатая. О хлебе насушном и власти над снами

Голод в квартире Оранских стал ее незримым жильцом. Он витал в пустом холодильнике, скрипел на полках вместо посуды и смотрел на мальчиков пустыми глазницами консервных банок. Светлана, тень самой себя, уходила затемно и возвращалась затемно, принося жалкие копейки за уколы, шитье и уборку.

Именно этот животный голод вместе с безысходностью стал катализатором прогресса дара ребят. Сидели как-то вечером на кухне, пили чай без всего. Витя с тоской смотрел на потрескавшийся кафель.

“Вот если бы... если бы просто взять и достать из сна булку горячего хлеба. Прямо вот так,” – он сделал неуверенный движение рукой в воздухе.

Но Витя задумался серьезно. Он закрыл глаза, отбросил мысли о пустом желудке и начал “вспоминать” сон о цветке невероятной красоты во всех деталях. Воздух в углу кухни дрогнул. И между стеной и столом расцвел маленький, нежный цветок с перламутровыми лепестками. Самый настоящий.

“Я его оттуда... вызвал,” – прошептал Витя.

Их взгляды встретились, и в них вспыхнула одна и та же, дикая мысль. Хлеб!

Витя концентрировался на самой сущности хлеба: сытости, безопасности, домашнем тепле. На кухонном столе воздух сгустился в золотистое марево. И на клеенке, влажный еще от жара несуществующей печи, лежал румяный каравай.

Они ели, плача и смеясь, чувствуя, как голод отступает. Это была магия, которая могла спасти.

А потом Витя сказал, видя завистливый взгляд брата:

“Гриш... а твой дар... он же тоже может быть полезным. Ты же говорил, что во время кошмаров люди... открыты.”

Гриша замер, но быстро ответил:

“Отец говорил это нарушает правила, но наш хлеб это тоже нарушение. Деваться некуда, мы должны выживать, давай пробовать.”

Мысль использовать его дар активно казалась кощунственной. Но вид сытого брата и память о бессильной матери перевесили. Он решился на эксперимент. Объектом стал Димка Крутов.

Гриша знал его ночные кошмары досконально: пьяный отец, разбитая посуда, плачущая в подушку мать. В ту ночь, когда этот кошмар разыгрался снова, Гриша не просто наблюдал. Он собрал волю и шагнул внутрь. Он был невидимкой в углу страшного сна. Увидев призрачного, маленького Димку, забывшегося в угол, Гриша сделал нечто иное. Он не стал внушать находку денег. Вместо этого, он обратился к тому глубинному страху, который питал всю злобу Димки в школе – страху стать таким же, как его отец. Голосом, который был скорее ощущением, чем

звук, Гриша вложил в спящее сознание одноклассника простую, но ясную мысль: “Ты не хочешь быть таким. Ты сильнее. Оставь Гришу в покое. Он тебе не враг, он просто другой. И в его глазах ты видишь то, чего боишься больше всего – жалость. Прекрати.”

Наутро Димка пришел в школу не хмурым и не искал Гришу взглядом. Когда их пути пересеклись в коридоре, Гриша, по привычке напрягшись, готовился к насмешке. Но Димка лишь на секунду встретился с ним глазами, быстро отвел взгляд и прошел мимо, словно не замечая. Не было ни издевок, ни толчков. Было игнорирование, но не агрессивное, а скорее смущенное. Для Гриши это была огромная победа. Он не манипулировал, а защитил себя, достучавшись до чего-то человеческого в самом сердце кошмара.

Успех окрылил. И когда Гриша услышал, как мать, собираясь на подработку к самому Крутову-старшему, прошептала: “Хоть бы не обсчитал...”, – решение созрело мгновенно. Техника отработана. Цель – важнее.

Он знал сны нового “хозяина жизни”. Это были взрослые, утробные кошмары: его самого грабят, кидают в яму, отнимают его хлипкое богатство. Гриша вошел в этот сон. Атмосфера была густой, пропитанной потом страха и алчности. Он увидел призрачный образ Крутова, мечущийся среди развалин. И тогда Гриша, преодолевая отвращение, сделал свое дело. Он встроил в сюжет кошмара новую деталь. Когда грабители скрылись, а Крутов лежал в грязи, к нему подошла фигура в простом платье – силуэт, похожий на Светлану. И она, не говоря ни слова, простирала над ним руки, и грязь превращалась в золотые монеты. И звучала мысль, четкая, как приказ: “Заплати ей. Заплати щедро. Она – твой талисман. Она приносит удачу. Не покусись, или все это произойдет с тобой наяву”.

На следующей день вечером Светлана вернулась ошеломленная, сжимая в руках пачку купюр, сумму за месяц работы.

“Он... сказал, что я приношу удачу, – лепетала она. – Заплатил вперед...”

Братья смотрели на эти деньги, а потом друг на друга. На столе лежали крошки вчерашнего волшебного хлеба. Триумф был полным. Они нашли способ влиять на мир. Кормиться. Защищать.

Но Гриша, ложась спать, чувствовал странный привкус. Горьковатый, металлический. Как будто он, войдя в грязный сон алчного человека, принес частицу этой грязи на себе. Он помог матери, но сделал это, вторгнувшись и искажив чужое сознание, пусть и сознание негодяя. Где-то в глубине души, в том месте, где текла его связь с Подтесенью, дрогнула и пошла рябью темная, маслянистая вода. Они сорвали первый запретный плод. И не подозревали, что за сладость всегда следует расплата.

Глава двенадцатая. О пекаре, которого не было

Жизнь, как та самая Ока после половодья, понемногу возвращалась в свои берега. Пусть не в прежние, широкие и полноводные, а в новые, более узкие, но зато прочные. В больнице, сжалившись или по нужде, Светлану снова взяли на работу. Зарплата была смехотворной, но это были деньги, а не спирт или бартер. Прибавка к пособию по потере кормильца, хоть и мизерная, давала ощущение хоть какой-то опоры от государства. И главное – вернулся смысл в ее движениях. Она снова была медсестрой, а не призраком. Усталая, но живая. Она даже стала брать больше подработок, зная, что сыновья уже не малыши и сами справятся.

А сыновья не просто справлялись. Они творили в пустой квартире свое собственное, тихое чудо. Время без матери стало для них временем академии тайных искусств.

Гриша, измученный годами хаотического вторжения чужих снов, научился структурировать хаос. Он больше не тонул в океане ночных кошмаров города, а плавал в нем, как опытный ныряльщик. Он отточил умение находить нужную “нить” – сон конкретного человека. Он научился “пролистывать” сны, как страницы книги, отделяя важное от фонового шума. Он открыл, что может не погружаться в сон с головой, а наблюдать со стороны, через защитное стекло собственной воли. Это не избавляло полностью от тяжести увиденного, но давало контроль. Он стал не жертвой дара, а его оператором.

Витя, взрослея, обнаружил, что его внутренняя “мастерская” расширилась до размеров вселенной. Если раньше он создавал отдельные образы – запах хлеба, цветов, – то теперь он учился писать целые картины. Во сне он смешивал краски, каких не было на палитре, создавал формы, нарушавшие законы ботаники и архитектуры. Он научился передавать в мир не просто запахи, а целые букеты ощущений: запах дождя в сосновом лесу, смешанный с чувством безмятежности, или аромат старой книги, несущий отголоски спокойной мудрости. Материализация стала для него таким же естественным процессом, как дыхание. Как-то раз, когда Гриша особенно тосковал по детству, Витя, подумав, поставил на стол не просто яблоко, а целый, еще теплый яблочный пирог, с хрустящей корочкой и коричной пылью на поверхности. Он был идеален.

Но волшебство надо было прятать. Так родилась легенда о Пекаре. Светлана, уходя затемно, всегда оставляла деньги на хлеб. Братья эти деньги бережно откладывали (Витя говорил, что на “покупку ингредиентов для экспериментов”, а по сути – в тайный фонд на черный день), а на стол выкладывали свежайшую, душистую буханку.

“Мама, ты не представляешь, какой у него хлеб! – с восторгом рассказывал Витя за завтраком. – Он приезжает на голубой “Газели”, прямо у дворов торгует. Говорит, печет для души. А его жена... она нас с Гришей обожает! Говорит, мы ей напоминаем племянников. Всегда всучит что-то недорогое – то булочку, то калачик. И денег брать не хочет!”

Светлана, сначала удивленная, потом просто благодарная, качала головой: “Ну, есть на свете добрые люди. Только не будьте навязчивыми, не обижайте доброту.” Она была слишком уставшей, чтобы копать глубже, а хлеб и правда был божественным. Лучше того, что продавали в городских магазинах. Эта маленькая ложь во спасение стала краугольным камнем их новой, более уверенной жизни.

Братья стали ближе, чем когда-либо. Их связывала не просто кровь, а общая тайна, общая цель и общая, окрепшая сила. Они разговаривали на своем языке, полном намеков и терминов, понятных только им: “вчера нашел сон нашего мэра, там такой бардак...”, “а я попробовал воссоздать запах той поляны из сна отца, помнишь?”

Их главной, неозвученной целью стала подготовка к Подтесени. Они чувствовали зов той реки, как слышат перезвон колокола где-то вдаль. Теперь у них были инструменты. Гриша тренировал “психическую броню”, чтобы выдержать давление коллективного бессознательного города. Витя учился создавать и удерживать в уме сложные, яркие образы – возможное оружие против “Туманов” или ключи к тайнам реки.

Они достали и перечитали отцовский дневник, который раньше понимали с трудом. Теперь записи о “точках входа”, “течении снов” и “якорях реальности” обретали практический смысл. Они потихоньку собирали свои “якоря” – предметы, связанные с их самыми сильными, совместными переживаниями: тот самый камешек с дырочкой, общая фотография с отцом, первый цветок, созданный Витей, компас отца (один из его якорей для входа).

Как-то вечером, когда за окном бушевала метель, они сидели на кухне, попивая чай с великолепным печеньем, которое Витя “подсмотрел” во сне о французской кондитерской.

“Мы готовы?” – тихо спросил Гриша, ломая хрустящую розетку.

“Не знаю, – честно ответил Витя. – Но если не сейчас, то когда? Мы уже не дети. И река... она ждет. Я чувствую, как она меняется. Становится другой.”

Гриша кивнул. Он тоже чувствовал. Сквозь сны горожан все чаще прорывался липкий, черный страх бедности, связанный с пережитыми очень тяжелыми временами, недавним дефолтом и резким скачком курса доллара США. Это питало Подтесень.

“Значит, скоро, – заключил Гриша. – Надо только дождаться подходящего дня. И предупредить маму, что мы можем задержаться в... библиотеке.”

Они переглянулись и улыбнулись. В их улыбках была не мальчишеская бравада, а твердая, взрослая решимость. Они были двумя берегами одной реки, и вода между ними текла ровно и мощно, набирая силу перед тем, как устремиться в неизведанное русло. Их маленькая кухня с запахом волшебного хлеба была тихой гаванью. Но они уже точили весла для далекого плавания.

Глава тринадцатая. Клятва на берегу двух рек

Берег Оки в том месте, где когда-то кипела жизнь речного вокзала, теперь был царством тишины и заброшенности. Полусгнившие причальные мостки уходили в мутную воду, как ребра дохлого кита. Среди покосившихся сараев братья нашли то, что искали: старую, проржавевшую каютку сторожа, почти невидимую за стеной дикого шиповника. Стекло было выбито, дверь висела на одной петле, но крыша еще держалась. Внутри пахло плесенью, тиной и чем-то неуловимо знакомым – слабым, застрявшим здесь эхом давних снов о дальних плаваниях.

“Здесь, – сказал Гриша, обводя взглядом захламленное пространство. – Это наша база”.

Витя кивнул, уже мысленно расставляя по углам воображаемые предметы: стол для карт, полку для якорей, сундук с припасами. Он прикоснулся ладонью к сырой стене, и под его пальцами на мгновение проступил теплый узор, похожий на морскую волну, – сон о надежном пристанище.

Наступил момент. Братья стояли спиной к каютке, лицом к широкой, сонной Оке. В руках у каждого был свой якорь. У Гриши – потрепанная фотография отца, где тот смеялся, обнимая их обоих, еще малышей. У Вити – тот самый камешек с дырочкой, теплый от постоянного контакта с ладонью. Они взялись за руки, свободные ладони легли на открытую страницу отцовского дневника, где корявым почерком был выведен не текст, а странный, вихревой узор – ключ.

“Отец, – прошептал Гриша, глядя на фото. – Проводи”.

“Проводи”, – эхом отозвался Витя, сжимая камень.

Они начали читать заклинание. Не только слова, но и ощущения, вложенные в узор. Чувство падения во сне. Чувство потери границы между телом и пространством. Чувство течения, уносящего вглубь.

Воздух перед ними, над самой водой, задрожал и потеплел. Краски мира поблекли, будто их затянуло грязноватой пленкой. И эта пленка порвалась. Звук реальности – щебетание птиц, шум ветра в кустах – ушел, сменившись плотной, звенящей тишиной.

Они шагнули вперед. И оказались на берегу Подтесени.

Она была прекрасна и печальна одновременно. Не та жутковатая, мутная река из детства, но и не сияющий поток чистых грёз. Вода переливалась глубокими, тягучими цветами: где-то бархатно-синяя, как ночное небо, где-то – зеленая, как лесная чаща, а кое-где проступали грязновато-желтые и ржаво-коричневые разводы, словно незаживающие раны. По ней плыли сны. Яркие, как витражи: смех ребенка, первый поцелуй, ощущение полета на велосипеде с горы. Но тут же, рядом, проползали клубки теней: тревога перед экзаменом, стыд за мелкую подлость, всеобщая ежедневная усталость. Река дышала. Её дыхание было сложным – в нём чувствовались и надежда, и глубокая усталость.

“Она... живая, – сказал Витя, замороженный. – И она всё ещё болеет. Не так как тогда, но не выглядит здоровой и полной жизни.”

“Смотри, – Гриша указал на одно из темных пятен. – Это страх. Страх завтрашнего дня. Он исходит почти от всех. Люди бояться тратить деньги и копить тоже бояться.”

Они шли по берегу, который был не песком, а чем-то упругим, похожим на спрессованный свет. Диалог рождался сам собой, тихий и беспощадно честный.

“Отец и дед просто смотрели, – начал Гриша. – Они берегли знание, как святыню. И боялись. Деда сгубил страх других перед его даром. Отца сгубил... страх действовать. Страх сломать хрупкий баланс”.

“Они были зрителями, – добавил Витя, глядя на свои руки, способные творить. – А мы? Что мы будем делать, Гриш? Собирать красивую коллекцию чужих страданий и надежд? Как картины отца из ржавого железа – смотреть и восхищаться болью?”

Гриша остановился. Его лицо, обычно отражающее чужие эмоции, сейчас было сосредоточено на своих.

“Нет. Я не хочу быть зеркалом. Зеркало – оно пассивно. Оно лишь показывает грязь, но не моет. Я... я хочу быть мостом. Чтобы человек мог перейти по нему из своего кошмара... куда-то еще. К тебе, к твоим снам”.

Витя взглянул на брата, и в его глазах вспыхнул ответный огонь.

“А я не хочу быть просто утешителем. Не хочу давать хлеб, чтобы забыли о голоде. Я хочу... изменить почву. Чтобы хлеб рос сам. Чтобы сны людей рождались не из страха нужды, а из... из любопытства к миру! Из желания творить, а не выживать!”

Голоса их крепили, звучали в странной тишине Подтесени как клятва.

“Нас называли богатырями духа, – сказал Гриша. – Но богатырь не сидит в засаде. Он выходит на битву. Даже если поле битвы – вот эта река. Даже если дракон – это чей-то невыносимый, многолетний страх”.

“И даже если драконов очень много”, – тихо добавил Витя, глядя вглубь реки, где вдали, за изгибом, вода казалась неестественно черной.

Они повернулись друг к другу, и в этот миг были не просто братьями, не просто носителями дара, а двумя частями одного целого, осознавшими свою миссию.

“Клянусь, – сказал Гриша, и его голос был низким и твердым, как сталь, которую любил их отец. – Клянусь тебе и этой реке. Я буду рядом. Всегда. Ты падаешь – я подниму. Ты заблудишься в чужих снах – я найду тебя и выведу. Мы будем менять эту реальность, клянусь. Пока люди в нашем городе, в нашей стране не смогут, наконец, вдохнуть полной грудью. Без этой тяжести здесь”.

Он приложил руку к груди.

“Даже если будет невыносимо трудно. Даже если придется сломаться. Даже если...” Он не договорил, но Витя понял. Даже если погибнуть.

Витя положил свою ладонь поверх его руки. Его клятва была другой – не стальной, а живой, как дерево.

“А я клянусь... наполнять этот мир таким светом, что тьме не останется места. Клянусь быть источником, а не только фильтром. Мы не будем бояться, как они. Мы будем творить. И мы будем возвращаться сюда, к этой реке, снова и снова, пока она не станет чистой. Пока она не запоет”.

Их клятвы, смешавшись, повисли в воздухе, и казалось, сама Подтесень на миг затихла, прислушиваясь. Но эхо еще не смолкло, как вода вдали, у того черного изгиба, зашевелилась. Из неё, как испарения от кислоты, начали подниматься бесформенные, тягучие клубы. Они были цвета гниющей листвы и похожи на отчаяние, если бы кто-то захотел его нарисовать. Они не имели глаз, но ощущали присутствие – присутствие чистой, дерзкой, юной воли, бросившей им вызов.

“Туманы”, – прошептал Гриша. Он почувствовал нарастающую волну холода, апатии, желания все бросить.

“Они почуяли нас, – сказал Витя, и в его голосе не было страха, лишь холодная констатация. – Нашу решимость. Она для них – как вызов”.

Клубы стали тянуться вдоль течения, медленно, но неуклонно начиная двигаться в их сторону.

“Мы не готовы, – четко произнес Гриша, анализируя не ситуацию, а баланс сил. Его ум, научившийся систематизировать сны, мгновенно дал отчет: прямое столкновение сейчас – поражение. – У нас нет оружия. Только клятвы”.

“И якоря, – добавил Витя. – Чтобы вернуться”.

Им не нужно было обсуждать дальше. Не было ни разочарования, ни паники. Было стратегическое решение солдата, берегущего силы для главной битвы. Витя крепче сжал камешек. Гриша в последний раз взглянул на надвигающуюся, липкую муть, запоминая её “вкус”. Они шагнули назад, в разрыв реальности, который еще пульсировал за их спинами.

Давящее безмолвие Подтесени сменилось привычным шумом ветра над Окой. Они стояли на скрипучих досках причала, и в жилах у них стучала не от страха, а от адреналина и принятого решения.

“Мы вернемся, – сказал Витя, глядя на воду, за которой скрывался иной мир. – Но уже с планом”.

“С оружием, – поправил Гриша. – Мы нашли поле боя. И мы дали клятву. Все остальное – дело техники”.

Они повернулись и пошли к своей заброшенной каютке, которая теперь была не просто укрытием, а штабом. Первая разведка вражеской территории была завершена. Война за душу города – объявлена.

Глава четырнадцатая. О зимних пионах и цене чуда

Клятва, данная на берегу Подтесени, стала для братьев не просто словами, а внутренним камертоном. Он настроил их жизнь на новый лад. Уверенность перестала быть бравадой – она стала тихой, прочной осанкой души. Они знали, зачем существуют.

Это знание преобразило всё. Учёба в школе из скучной обязанности превратилась в сбор инструментов. Зачем знать физику? Чтобы понимать законы мира, который они собирались менять. Зачем литература? Чтобы найти слова для невыразимого, чтобы научиться видеть душу в сюжетах. Они читали запоем – от школьных учебников до мифологии и трудов по философии, выискивая крупницы, которые могли объяснить природу их дара.

По вечерам, когда Светлана была на дежурстве, они разбирали отцовский дневник. Теперь его записи, прежде туманные, открывались, как шифр, ключ к которому они наконец-то нашли. Именно тогда они наткнулись на ту самую, обведённую в траурную рамку, запись: “Цена сновидца. Восприимник, не сумевший отделить “я” от “не-я”, сойдёт с ума, растворившись в чужих кошмарах. Хранитель, истощивший источник, иссушит душу мира, и сны станут бедны, как пустыня. Умеренность. Страх. Смирение – вот наши учителя.”

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.